

В редакцию не вернулся

ПОЭТ, СЫН ПОЭТА



Это было в январе 1942 года. Войска Волховского фронта вели упорные и кровопролитные бои, пытаясь помочь осажденному Ленинграду. В редакцию армейской газеты «Отвага», где я работал начальником отдела пропаганды, явился подслеповатый человек, в очках, одетый почти по-летнему, хотя стояла суровая военная зима...

— Всеволод Багрицкий, — отрекомендовался он, и сразу же мы узнали в этом сутуловатом и несколько неуклюжем юноше сына известного поэта, автора бессмертной поэмы «Дума про Опанаса» Эдуарда Багрицкого.

В. Багрицкий приехал на фронт из Чистополя, небольшого городка, расположенного недалеко от Казани, куда была эвакуирована группа московских писателей. Несмотря на то, что Всеволод был снят с воинского учета из-за плохого зрения, он обратился в Главное политуправление РККА с просьбой направить его во фронтовую печать. Его ходатайство поддержал А. А. Фадеев, руководивший тогда Союзом писателей СССР.

И вот после долгих мытарств по дорогам войны Багрицкий добирается наконец до места назначения и сидит теперь среди нас, уже обстрелянных журналистов, побывавших на других фронтах, в жестоких боевых переплетах.

Очередной налет немецкой авиации возвращает нас к действительности. Бомба попадает в дом, расположенный недалеко от редакции, и разворачивает его до основания. Мы пытаемся помочь оставшимся в живых, и тогда, может быть впервые, Всеволод увидел, что такое подлинная война, хотя самое тяжкое было еще впереди.

Затем начались непрерывные бои. Надо было во что бы то ни стало прорвать кольцо блокады Ленинграда, который переживал трагические дни.

Стояли сорокаградусные морозы, и наступающие бойцы шли по колено в снегу, иногда наскоро вырывая снежные окопчики, чтобы согреться или укрыться от вражеского огня. Багрицкий был почти все время с наступающими ударными частями, он редко появлялся в редакции, и то для того, чтобы сдать очередную корреспонденцию или очерк.

За короткую фронтовую жизнь Багрицкого мне привелось, пожалуй, больше всех быть с ним вместе. Возможно, это было связано с тем, что у нас оказалось много общих знакомых и дорогие воспоминания сблизили нас, а может быть, потому, что меня, как и Багрицкого, одолевало желание увидеть все своими глазами.

После жестоких боев ударные части Волховского фронта заняли западный берег реки. Наступление было сопряжено с большими жертвами.

Мы идем с Багрицким по льду древней русской реки и куда ни взглянем — везде трупы, трупы, трупы. Они лежат в разных позах, уже замерзшие и окостенелые, заносимые колочим январским снегом.

На другом берегу Волхова те же следы жестоких боев и тоже трупы, но уже немецких и испанских солдат из «голубой дивизии». Повсюду руины, пепел и только уцелевшие трубы от русских печей, когда-то согревавших деревенские избы.

Но что это? Перед одной из обугленных воронок закурился дымок, мы подходим ближе и неожиданно проваливаемся вниз... Это, оказывается, землянка, где укрывались оставшиеся в живых советские люди. От них мы узнали, что на этих выгоревших и мертвых местах совсем недавно стояла небольшая деревня Новые Быстрицы.

Перед отступлением фашисты уничтожили деревню, а до этого расстреляли двенадцать пленных красноармейцев и сожгли их. Они убили многих колхозных активистов и комсомольцев.

Решение пришло тут же: мы расскажем о трагедии небольшой русской деревни Новые Быстрицы немедленно, посвятим этому газетную полосу или, может быть, даже целый номер.

Через два дня, 7 февраля 1942 года, в армейской газете «Отвага» вся третья полоса была отдана материалам под общей шапкой: «Большое горе маленького колхоза». В подзаголовке стояло: «Как издевались фашистские изверги над жителями деревни Новые Быстрицы». Большая часть материала принадлежала Багрицкому.

В один из зимних февральских вечеров я встретил Багрицкого возбужденным. Он ругался, угрожая обратиться в Политуправление фронта с просьбой откомандировать его в другую газету.

— Что такое, что с вами?

— Нет, я так больше не могу, он правит не только заметки, но и стихи. Понимаете, стихи! Вы посмотрите, что получается, — и Багрицкий совал мне свежий оттиск газеты.

Всеволод был вспыльчив, он нетерпимо относился ко всякой лжи и фальши. Особенно болезненно он переживал, когда в его заметки или стихи вносились поправки, причем не всегда грамотные, иногда менявшие мысль, тот или иной смысловой оттенок или интонацию, психологический подтекст. На этой почве у него с редактором газеты, который имел пристрастие ко всяким «округлостям» стиля, вставкам и допискам за авторов, нередко происходили споры и стычки.

Багрицкий присел на пенек, достал блокнот и что-то быстро написал.

— Вот, пожалуйста, передайте это в Политуправление, — обратился он к поэту Павлу Шубину, корреспонденту фронтовой газеты, находившемуся тогда в нашей армии. А сам быстро подтянул ремень, поправил сумку и, улыбнувшись, сказал: — Ну, а я в хозяйство Гусева, там, кажется, жарко сейчас, но интересно...

Этот разговор произошел 24 февраля 1942 года. А через два дня, когда на лес спускались вечерние сумерки, на простых русских санях рядовой солдат-возница привез мертвого Багрицкого. 26 февраля, в 6 часов вечера, он был убит осколком бомбы во время налета немецкой авиации на деревню, где расположились боевые подразделения Гусева.

Потрясенные этой неожиданной утратой, мы долго стояли вокруг умолкнувшего Багрицкого, всматривались в его холодное побелевшее лицо, глубоко запавшие глаза...

Мы несли его к могиле на плечах лесной тропой в ясное зимнее утро. Обо всем этом Сева рассказал сам еще в своем пророческом письме к матери 2 октября 1938 года. В этом письме есть такие строки:

Он упал в начале боя.
(Показались облака...
Солнце темное лесное
Опускалось на врага).
Он упал, его подняли;
Понесли лесной тропой...
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.

Низко поклонившись свежей могиле, мы уходили вперед, навстречу новым испытаниям и потерям, а Всеволод Багрицкий остался лежать в древней новгородской земле, за которую он отдал свою совсем юную жизнь.

Николай РОДИОНОВ.